



Евгений Соловьев
Георг Гегель. Его жизнь и
философская деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175479

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиотекам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Введение	5
Глава I	8
Глава II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Евгений Андреевич Соловьев Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Биографический очерк Е. Соловьева

С портретом Гегеля, гравированным в Лейпциге Геданом



Введение

Если мы, русские люди, хотим ознакомиться с умственной жизнью нашего общества тридцатых, сороковых и отчасти пятидесятых годов XIX века, нам не миновать философской системы *Гегеля* или, по меньшей мере, обстоятельного очерка о ней. Были дни, когда диалектические тонкости и хитросплетения берлинского мудреца безраздельно властвовали над лучшими умами России, и эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся светлым воспоминанием для русской интеллигенции. Тогда многие честные люди смотрели на знакомство с философией Гегеля как на *нравственное* обязательство и даже принуждали себя к нему. К таким принадлежал, например, Станкевич. Мы знаем, что целый период умственного развития Белинского проходил под знаменем гегельянства. Правда, Белинский быстро разочаровался в «Егоре Федоровиче» Гегеле, но ведь Белинский, по своей оригинальности, – натура исключительная. Упомянем еще имена Грановского, Тургенева, и мы увидим, что философская система Гегеля, несмотря на всю свою несомненную туманность, была как бы откровением для русской интеллигенции. Ей мы обязаны появлением двух наиболее плодотворных течений нашей мысли: западничества и славянофильства. Ей когда-то мы верили с тем самоотвержением, тою горячностью, которые характеризуют несамостоятельную еще мысль, судорожно хватающуюся за иллюзию, способную осветить весь жизненный путь до последнего верстового столба у кладбища и даже за ним. На ней выросло поколение сороковых годов, поколение самое богатое и мощное, и, за исключением позитивизма, своим *формальным* развитием русская мысль наиболее обязана Гегелю.

Быть может, кто-нибудь читавший или только пытавшийся читать Гегеля найдет в этом факте немало поразительного. Мы так далеко ушли от Гегеля и от его способа мышления, так привыкли к другим способам рассуждения, что Гегель уже не может соблазнить нас, несмотря на все свое остроумие, а чтение его книг вызывает в нас совершенно основательную скуку и недоумение.

Но тогда было другое время.

Русские люди не открыли Гегеля, а только подражали Западу в восторгах перед всеобъемлющей системой берлинского мудреца. Если теперь мы признаем за этими горами акробатической диалектики только известного рода пользу, то в двадцатых и тридцатых годах увлечение философской системой Гегеля представляется в следующем виде: «Несомненно, – говорит Гайм (1857 г.), – что еще многим из живущих памятно то время, когда все знания питались от роскошно убранного стола Гегелевой мудрости, когда все факультеты толпились в прихожей философского факультета с целью усвоить хоть что-нибудь из возвышенного рассмотрения абсолютного существа и из неуловимой гибкости прославленной гегелевской диалектики, когда всякий был или правоверным последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым человеком, презренным эмпириком; наконец, когда само государство считало себя безопасным и прочным оттого, что старик Гегель построил его на началах разумности и необходимости, и потому на искавшего духовной должности или звания наставника, ежели он не был гегелистом, смотрели у нас как на преступника. Эти-то времена надо возобновить в своей памяти, чтобы понять вполне, в чем заключается настоящая сила и важность значения какой-нибудь философской системы. Необходимо со всей живостью представить себе восторженность и самоуверенность гегельянцев 30-х годов, которые с глубокой серьезностью предлагали вопрос: „Что будет составлять дальнейшее содержание всемирной истории после того, как мировой дух достиг в гегелевой философии своей последней цели, – знания самого себя?“

Итак, с точки зрения современников, Гегель понял и объяснил все; если теперь его система рухнула, если теперь чистые гегельянцы исчезли с лица земли, как какая-нибудь

вымершая порода людей, то десятилетие с 1825 по 1835 год по справедливости может называться эпохой гегельянства, и не только для одной Германии.

И это – несмотря на всю трудность, подчас непреодолимую, Гегелевой диалектики, несмотря на полную произвольность основных положений системы, несмотря на яркую, иногда грубую догматичность, так глубоко противоречащую духу новой и новейшей Европы? Да, несмотря ни на что.

Остановимся на форме произведений Гегеля, этой «колючей скорлупе, под которой скрывается миражеобразная истина», чтобы вполне оценить самоотверженность бесчисленных учеников, проникавших, более того, – считавших своей нравственной обязанностью проникнуть в сущность учения великого мудреца. Вот что говорит об этой форме Гайм, лучший толкователь и критик философской системы Гегеля: «Гегель никогда не был мастером ни в устной речи, ни в письме. Гете находил в нем недостаток легкости в изображениях; В. Гумбольдт предполагал в нем неразвитость способности владеть языком. Это можно заметить даже и в ту эпоху, когда он вполне сознал задачу созданной им системы. До этого целые годы он горячо борется с первыми рождающимися образами мысли. Чему же удивляться, если при его способе представления трудность понимать его доходит до крайних пределов?.. Самый непроницаемый и, можно сказать, необъятный материал представляет его философия природы; в ней лежат дикие, неразработанные массы действительности – рядом с другими элементами, которые логической силою нашего философа совершенно лишены плоти и крови. Даже самое острое зрение едва ли в состоянии заметить хоть одну живую пылинку в этих пространствах чистой мысли, и, в свою очередь, едва ли чья-нибудь мысль в силах проложить себе путь сквозь разноцветные, густо наложенные один на один образы. Здесь язык математики смешивается с языком логики и сменяется величественными поэтическими выражениями. Картины пронизаны блестящей пестротой и обрамлены нагими линиями построения. Никогда, быть может, ни до, ни после Гегеля, ни один человек не писал таким языком. Иногда его изложение темнее изложения Якова Бема и отвлеченнее Аристотелева: такова твердая и колючая скорлупа, из которой нам предстоит вынуть в чистом виде зерно мирозерцания Гегеля».

Конечно, не одно любопытство, не одна жажда познания заставляла десятки и сотни людей колоть себе руки об эту колючку. Тут был фанатизм, напоминавший принцип полумифической школы пифагорейцев, самоотверженно умолкавших при знаменитом «*magister dixit*» («так сказал учитель»), и, следовательно, сомнения и споры неуместны), – фанатизм, заставлявший умнейших людей отдавать все свои способности, свое время, свои таланты, свою жизнь, наконец, на понимание и *рабское* усвоение чужого, в лучшем случае на истолкование его. Тут действовала не простая любознательность, а слепое увлечение, заставлявшее видеть в философии Гегеля уже не философскую, а *религиозную* систему. И для многих действительно она была религией, дававшей ответы на все вопросы бытия. По Мишле: «Гегель начертал программу, которую человечеству остается только исполнить». Для Розенкранца философия Гегеля представляла из себя последнее слово протестантизма. Один из серьезнейших русских писателей, вполне самостоятельно относясь к Гегелю, настойчиво отмечает в его философии именно этот религиозный характер. Он говорит: «Гегелизм был не только научной системой; гегельянцы были не только философской школой; точка зрения безусловного была не только метафизическим началом, – гегелизм был учение религиозное, гегелианцы были сектанты, безусловное было догмат».

Что же касается русских людей, увлекавшихся гегельянством, то, конечно, религией оно для них никогда не было и религиозного фанатизма не возбуждало. Но они, эти русские люди, изучая систему берлинского мудреца, впервые знакомились с совершенно стройным философским мирозерцанием, являвшимся последним словом европейской культуры того времени. В этой целостности, всеобъемлемости гегелевской системы и заключалась глав-

ным образом ее привлекательность. Ибо, как говорит В.С. Соловьев: «Философия Гегеля – абсолютно совершенная в себе замкнутая система; зная ее, можно понять общий смысл всего того умственного развития, которое в ней нашло свое завершение и самоопределение». В Россию она упала как бы с неба. Понять ее историческое значение как реакцию против рассудочного мышления и отвлеченного анализа, всегда преобладавшего на Западе, а следовательно, и ее крайнюю односторонность – русские люди сразу не могли, но несомненно, что благодаря своей стройности, наукообразности и всеобъемлемости она помогла им выйти из по-детски отрывочного мирозерцания, переполненного всяческим традиционным хламом, а ее изучение заставило пересмотреть все свои взгляды. Но гегельянство в России – для нас вопрос посторонний. Наша задача скромнее: мы хотим познакомить читателя только с личностью берлинского философа и общим духом его учения.

Чтобы решить ее, обратимся к биографии Гегеля и характеристике его эпохи, памятуя его же слова: «Всякое создание духа есть произведение своего времени, всякий отдельный человек – дитя своей эпохи».

Глава I

Детство и отрочество

Георг Вильгельм Фридрих Гегель по происхождению шваб. Его род перенесен в XVI веке из Каринтии в Швабию одним из предков, Иоганном Гегелем, искавшим здесь спасения от преследования католика эрцгерцога Карла. Наш философ родился 27 августа 1770 года в Штутгарте (Вюртемберг), где отец его служил сперва секретарем счетной палаты, а потом советником экспедиции.

Было бы очень приятно получить какие-нибудь обстоятельные сведения о семействе Гегеля; но, обращаясь за ними к его почтительному биографу Розенкранцу и к его собственным письмам, мы в них ничего или почти ничего не находим. Есть, впрочем, одна строчка в этих письмах, относящаяся к 1825 году, где Гегель упоминает: «Сегодня годовщина смерти моей матери, о которой я никогда не забываю». О его матери, умершей еще в молодые годы, мы знаем, что она сама обучала маленького Гегеля склонениям и спряжениям и отличалась как строгостью нравов, так и удивительной домовитостью.

Отец Гегеля, сначала секретарь счетной палаты, потом советник экспедиции, также, по словам биографов, «отличался строгостью нрава и удивительной аккуратностью», но, в чем именно заключалась «строгость его нрава», для нас остается неизвестным. Надо, однако, думать, что в ней не было ничего поразительного и что под «строгостью нрава» в данном случае следует подразумевать неукоснительно аккуратное посещение вюртембергской счетной палаты, не менее аккуратное возвращение домой в назначенный час, затем... Но приведем описание чиновничьего быта в данное время: «Попасть в дом к порядочному семейному чиновнику так же трудно, если не труднее еще, чем взять приступом первоклассную крепость. Сам *pater familias*, вернувшись со службы и плотно пообедав, ложится отдохнуть, после чего привычной стопой направляется в приличную, близлежащую *Bierhalle*,¹ где два часа упорно молчит и возвращается назад к своим пенатам очень довольный, что на сей раз никто не потревожил его разговорами о политике. Что он делает потом? Неизвестно, и только самое смелое воображение решается высказать гипотезу: «Ничего»... *Gnädige Frau*, почтенная мать семейства, в среднем кругу общества непременно религиозна, непременно домовита и хлопочет с утра до вечера, так как держать прислугу принято только у богатых людей. Она – хозяйка и любящая женщина, с добрыми голубыми глазами, с вечной мыслью об оторванной пуговице, о табачном пятне на одежде супруга, о предстоящей стирке. Она родит очень аккуратно и обыкновенно безболезненно; сама обучает своих детей чистоплотности и вере в Бога, никогда не говорит со своим супругом об общественной деятельности и не знает даже, что тот берет взятки».

Кроме отца и матери, у Гегеля была еще сестра, оставшаяся девой до конца дней своих и с первой же страницы биографии исчезнувшая от наблюдательного взора Розенкранца, и два брата, из которых младший погиб в юных летах – от пули или штыка, точно неизвестно.

В этом семействе прошли первые годы Гегеля. Его окружала умеренность, аккуратность, чистоплотность и материальный достаток, по-видимому, из самых средних. Все эти похвальные качества и принадлежности семейной жизни он впитал в себя и впоследствии, женившись, создал себе буквально ту же обстановку. Его жена «отличалась домовитостью и строгостью нравов и обходилась также без прислуги, разве в случае беременности»; двое

¹ пивную (нем.)

чисто одетых детей и сам неукоснительно аккуратный Гегель до мельчайших подробностей могли напомнить жизнь секретаря вюртембергской счетной палаты.

Первые годы детства нашего философа мы оставим в стороне, по той основательной причине, что говорить о них решительно нечего. Er war Kind mit Kindern und Knabe mit Knaben,² утверждает Розенкранц, и мы охотно верим этому, так как никто ведь не ожидает узнать будущего угрюмого и ворчливого профессора, поражавшего с высоты философской кафедры «горячих мальчишек, верующих в свое чувство» (то есть германскую молодежь), в красном ребенке, спокойно лежащем в своей по-немецки аккуратной кровати. Отметим только болезнь глаз, от которой Гегель едва не ослеп, и факт, сообщаемый почтительным Розенкранцем исключительно уже в видах полноты и обстоятельности: «Гегель очень любил прыгать, но танцевать научиться не мог».

Вот и все, что мы знаем о семействе нашего философа, о первых годах его, вероятно, счастливого детства: хворал, прыгал, обучался склонениям и спряжениям. Более личных подробностей у нас нет, но есть некоторые немаловажные сведения о состоянии общественного духа того времени. Скажут, однако: «Гегель был слишком мал, чтобы общество в этот период его жизни могло влиять на него». Так-то оно так, но не совсем. В сущности, влияние общества на человека начинается с первой минуты появления последнего на свет Божий и выражается во всем складе домашней обстановки, в способах наказания, в бесчисленных нотациях и нравоучениях, читаемых маленькому шалуны. Сын рыцаря видел себя окруженным доспехами и всякими воинственными принадлежностями, привыкал скакать верхом на сабле, а не на тросточке, слышал воодушевленные рассказы о балах, подвигах, разбойничьих и иных набегах и всем этим проникался. Сын скромного и неукоснительно аккуратного чиновника был окружен атмосферой благочиния, скопидомства и педантичной умеренности и также этим проникался. Общественный дух проявляет себя в тысяче иногда неуловимых подробностей, поэтому нелишне всегда иметь его в виду.

Прежде всего, мы имеем тот несомненный факт, что Гегель родился в один из самых тяжелых для своего отечества периодов. Совершенно парализованная общественная жизнь, полное отсутствие каких бы то ни было признаков общественной инициативы и самостоятельности удаляли все хоть немного требовательные и мыслящие умы от реальных задач и реальных вопросов жизни. Этих вопросов избегали всяческими способами; когда же они слишком уже настойчиво требовали решения, на них давались ответы, способные заглушить в человеке какое бы то ни было, хоть самое крохотное, стремление к активной роли здесь на земле. Отметим тот не лишенный интереса и поучительности факт, что по мере усиления внешнего гнета и самого грубого произвола все более распространялся пиетизм, а затем, как производное явление, наклонность ко всякого рода чертовщине, таинственности и бессодержательной схоластике. Словом, движение, начавшееся еще после Вестфальского мира (1648 г.), достигало благополучного завершения. «После этого унижительного события, – говорит Шерр, – Германия вполне предалась внутренней духовной жизни. Благородные, но слабые умы различными мечтаниями заменяли для себя утраченную народную честь и политическое значение. Эта внутренняя духовная деятельность, не находя себе никакого разумного применения на поприще общественной жизни, обратилась или на служение чувственности, или на созерцательно-химерическое времяпрепровождение. Здесь немецкий дух находил утешение от внешних зол». В этом направлении родина Гегеля шла в первых рядах многочисленной армии германских государств. Мы сейчас увидим, какого распространения добился в ней пиетизм, до каких нелепостей дошло искание чудесного и таинственного.

² С детьми он был ребенком, с мальчишками – мальчишкой (нем.)

Пиетизм, религия сердца, имел, конечно, свою положительную и симпатичную сторону. Из уроков своей матери-пиетистки Кант вынес ту нравственную твердость, ту непоколебимую веру в правду человеческой совести и необходимость нравственного обязательства в жизни, которые составляют основу его критики практического разума. Человек должен стремиться не к счастью, а к тому, чтобы быть достойным счастья, – говорили пиетисты, – нисколько, конечно, не затрудняясь придать своему учению религиозную санкцию. Их мораль, строгая и совершенная в себе самой, благотворно отражалась на чистоте семейной жизни, на святости домашнего очага, – но каков был тот практический земной идеал, к которому стремились пиетисты? Это был идеал кротости, смирения, воздержания, строгости, умеренности и т. д. без малейшей примеси какого бы то ни было общественного элемента, идеал самоусовершенствования, погружения в нирвану своего оторванного от общества и его задач «я». В религиозном отношении пиетизм представлял собой очищенный от государственного элемента протестантизм. В этой-то религии, в этой нравственности люди находили то спокойное упражнение своих сил и своих добродетелей, которое помогало им коротать жизнь здесь на земле и умирать, не свершив ничего. В пиетизме надо отметить еще и его созерцательный характер, его созерцательное настроение, окончательно удалявшие человека от жизни, и нет ничего удивительного, что во время тяжелого господства Гренвиц – куртизанки, игравшей в Вюртемберге роль абсолютного монарха – «пиетизм сделал значительные успехи». Рядом с ним и по тем же причинам пышным цветом распускалось схоластическое богословие. Своим созерцательным элементом, своею особенной преданностью вере пиетизм подавал руку всем необузданным мистическим учениям, всему таинственному, сверхъестественному в жизни. В человеке появилась какая-то особенная потребность чувствовать свою близость к иному миру, раз земной мир так скверен. Подобный спрос находил большое предложение. *Месмер* в это время толкует о своей таинственной жидкости, которая как начало всепроникающее является «душою мира»; *Гаснер* производит свои опыты чудотворного лечения; *Шпренфер* вызывает духов, – конечно, нечистых; *Сен-Жермен* старается разбудить улегшуюся страсть к алхимии; *Казанова* возвращает молодость и устраивает так, что молодые женщины беременеют от «лунных ночей». Его сиятельство – граф, князь, принц – все что угодно, *Калиостро* гремит по всей Европе и преимущественно в Германии. Тут же и *масоны* учреждают свои таинственные ложи. Уйти от действительности в область созерцания – этим принципом была пронизана вся общественная атмосфера. Прибавьте ко всему педантизм, умеренность и самодовольство чиновничьей обстановки, и вы получите в большей или меньшей степени ясное представление о тех «внушениях», которые получал Гегель в детстве. И, кстати сказать, к такого рода внушениям он остался особенно чувствительным в продолжение всей своей жизни. Его постоянно тянуло в сторону догматизма и веры; вся его система выросла на почве полного разлада между идеалом и действительностью. Пусть читатель прочтет ниже биографии Гельдерлина и Шеллинга, а также характеристику романтиков: он поймет эту почву, поймет все ужасы этого разлада и страстную потребность уйти от него куда-нибудь.

От 10 до 17 лет Гегель пробыл в школе. Уже здесь он является перед нами «маленьким стариком», как его прозвали товарищи, с склонностью всестороннего обсуждения, слишком большим педантом для окружающих его шалунов. Он сходится с ними очень мало, предпочитает одиночество и с удивительной пластичностью натуры извлекает из неприглядного окружающего возможную пользу для своего развития. Когда другие стонут от грамматики, грамматики и еще грамматики или, отложив всякое попечение об интересах своей личности, предаются механическому зубрению, Гегель самостоятельно увлекается классиками и тут же, в школе, кладет начало выработке одной из самых существенных сторон своей системы – эллинизму.

От пятнадцатилетнего Гегеля остался его дневник, о котором будет рассказано ниже. Пока же – небольшой, быть может, даже апокрифический, анекдот, упускать который мы не хотим ввиду некоторых его подробностей. Один маленький шалун, пробегая мимо Гегеля, ударил его очень больно, но решительно без всякого основания, и побежал далее в поисках за подобными же подвигами и новым проявлением активности. Гегель, сам маленький, поймал за руку маленького шалуна и серьезно спросил его: «Почему вы меня ударили?» – «Так», – отвечал тот, совершенно сбитый с толку подобным философским отношением к делу. «Я хочу, чтобы вы мне объяснили», – продолжал Гегель. Мальчик объяснил, что ему было скучно и что под руку никто в данную минуту, кроме Гегеля, не подвернулся. «А разве, ударив, веселее?» – настаивал Гегель. Шалун расхохотался, еще раз наскоро толкнул маленького философа и исчез в длинном коридоре, – для нас навсегда.

Гегель очутился в школе – сначала в латинской, потом в штутгартской гимназии. Вот что рассказывает Фридрих Лукгард (род. в 1758 году) о своем первоначальном обучении: «Катехизис был оракулом религии для католической молодежи. Латинский язык изучал я по учебнику Альвари и по искаженным отрывкам древних авторов. История преподавалась по учебнику, где на одной странице на дурном латинском, а на другой – на страшном немецком языке излагались факты с иезуитской точки зрения, с примесью множества сказок и выдумок. С ранних лет в нас старались вселить самое сильное отвращение к еретикам и всевозможным реформаторам. Человек, вышедший из подобной школы, по необходимости был туп, как бык. Лютеранские и реформатские школы, однако, еще раз в десять хуже. Там учат люди, положительно не знающие ни слова по-латыни. Школьные учителя подражают господам пасторам и предаются лени и беспробудному пьянству». Сам Гегель дает не лучшую характеристику своим педагогам, говоря в похвальном слове одному из них: «Он мыслил не так низменно, как *другие*, которые полагают, что, имея кусок хлеба, они не должны уже более учиться, и совершенно довольны тем, что в состоянии повторять из году в год ту же классную рутину».

Читая дневник Гегеля, относящийся к школьной поре, мы видим перед собой маленького гениального педанта, почтительно и с преданностью относящегося к исполнению прямых своих обязанностей и исключительно преданного неукоснительному прохождению гимназической премудрости. Изредка говорит он о своих развлечениях, о «милых и достойных представительницах слабого пола», встретившихся ему на балу, и посвящает десятки страниц описанию школьных занятий. Почти исключительно интересуется он классиками.

«В prima, – говорит он, – мы переводили Курциуса, Эзопа, Новый завет (по средам и пятницам от 11 до 12 и от 2 до 3 часов). В secunda – Цицерона „De Senectute“, „Somnium Scipionis“, „Laelius“; с греческого – послания апостола Павла и кое-что с еврейского из псалмов».

«В этих дневниках, – говорит Гайм, – нет ничего, что давало бы хоть легкий намек на ранний высокий талант или обещало в будущем необыкновенное явление в области духа». Перед нами мальчик, преданный усердным занятиям, тщательно собирающий различные сведения. Гегель почти не говорит о себе. Во имя знания он проникся полным самоотречением, не допускает никаких субъективных взглядов и часто ничего другого не делает, кроме переписывания готового, или заготавливает обширные извлечения из книг. Сам он как будто отсутствует и только накапливает груды знаний.

И это, – продолжает Гайм, – тем более замечательно, что мы находимся в последней четверти XVIII века, когда составление книг о личной жизни было в моде и даже обратилось в страсть. В этом явлении заключался один из признаков далеко распространившейся болезни. Оно было в тесной связи с тем почитанием отдельных личностей, с тем кокетничаньем собственной персоной, которое образовалось за отсутствием великих и всеобщих интересов в Германии, среди полной пустоты нашей общественной жизни. В дневниках Гегеля

нет даже признаков подобного самоудивления; нет рассказа ни о душевных потрясениях, ни о важных, ни о незначительных личных делах. Вся жизнь мальчика заключается в том, что он повторяет выученное или узнанное от других и старается запечатлеть в памяти посредством беспрестанного припоминания».

Действительно же в эти годы Гегель игнорирует индивидуализм и личное чувство. Он читал «Вертера» Гете, но Вертер, по-видимому, не произвел на него никакого впечатления. У Гете человек говорит исключительно о своих страстях и страданиях, требует личного своего счастья во имя ясно осознанной индивидуальности. Гегелю гораздо более нравится «Поездка Софии из Мемеля в Саксонию», сухой дидактический роман, наполненный длиннейшими и скучнейшими рассуждениями о женской добродетели, о воспитании и супружестве, со тщательно составленным меню ежедневных и сытых, но дешевых обедов, «ибо правильное пищеварение содействует благополучию супружеской жизни». Такое нравственно-поучительное, картофельно-селечное произведение как нельзя более пришлось по вкусу нашему юному философу.

В его юности вообще было мало молодости; уже в гимназии он казался умным не по летам и даже педантом. Какие высокомудрые наблюдения делает он по поводу одной ссоры крестьян между собой или по поводу еды вишен! Как угрюмы и как отдают классными темами его рассуждения о пагубных следствиях честолюбия и о безнравственности поединка! И, конечно, он был образцовым учеником, всегда получал награды и прочее.

Светлым фактом юности «маленького старика» было горячее увлечение не грамматикой, а духом древних произведений. Он до страсти любит «Антигону» и даже пытается перевести ее на немецкий язык. По его мнению, «изучение древних должно быть истинным вступлением в философию». Даже впоследствии «его взоры постоянно обращаются к образу Антигоны как самому незабвенному и сладкому воспоминанию в жизни». Быть может, возле этого дивного создания Софокла сконцентрировались все неясные, полные таинственного беспокойства, мечтания юноши о девушке; быть может, Гегель, подчиняясь волнению крови и совершенно особенному поэтически-созерцательному настроению своей души, даже любил чудный и гордый образ греческой героини. Его созерцательность, подавляемая массой воспринимаемого материала, в котором, как мы легко можем себе вообразить, было три четверти мусора, должна же была проявиться в чем-нибудь даже в эту ученическую эпоху. Иначе становится непонятен ее пышный расцвет впоследствии. Только с этой точки зрения понятно, почему Гегель протестующую героиню Греции называет родственнейшей из душ.

Затем, но уже под влиянием педагогов, Гегель увлекается рационализмом, толкует, что религия есть результат невежества, упроченный обманом жрецов; объясняет жертву Сократа Эскулапу не только «ослаблением умственных способностей мудреца от действия яда», но и «уважением к предрассудкам времени» и тому подобное. Но этот рационализм, отразившись впоследствии на первой стадии богословских занятий, не вошел в плоть и кровь Гегеля, рассеявшись под влиянием эллинизма, затем романтики и наконец общего стремления к догматическому, полному веры и презрения к скептицизму мышлению.

Вообще же Гегель работает...

Есть что-то увлекательное и высокое в этой неустанной энергии ума, стремящегося с самых юных лет охватить все предметы человеческого знания, всю совокупность человеческой мысли. В Гегеле эта энергия проявляется особенно рано и мощно, но со специальным колоритом смирения и покорности. Он легко и свободно, как какое-нибудь послушание, выносит на плечах свои утомительно-долгие ученические годы, нисколько не спешит выявить свое собственное «я», а спокойно занимается усвоением чужих мыслей, не мечтая, по-видимому, ни о славе, ни о самостоятельной работе. Он только учится, послушный внутреннему голосу и велению своей гениальной природы, и если бы кто-нибудь сказал теперь

этому скромному семнадцатилетнему юноше, что через двадцать пять лет он не только будет учителем и творцом системы, но и единственным учителем целой Германии, он, по всей вероятности, удивленно вскинул бы на говорящего свои серые глаза и спросил:

– Почему вы так думаете?

Он учится, и в этом вся его жизнь. В общем, он неуклюж; с девушками – робок, и решительно недоумевает, какие цитаты и из какого автора наиболее приличествуют в разговоре с этими «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он скромн, тих, почитателен, и не подозревает даже, что его ждет европейская слава и могущество, большее, чем могущество падишаха.

Глава II

Юность. – Тюбингенский университет. – Дружба с Гельдерлином. – «Sturm und Drang»³

Восемнадцать лет от роду, то есть в 1788 году, блестяще закончив гимназию, Гегель поступил в Тюбингенский университет с намерением посвятить себя изучению богословия. Едва ли он серьезно останавливался на мысли сделаться когда-нибудь впоследствии пастором – его, несомненно, привлекало общее философское содержание факультета. К тому же и наш юный педант не мог не заметить, какая деятельная работа мысли, какая перестройка всего заново происходила в области отвлеченного. «Преимущественно перед другими знаниями, – читаем мы о том времени, – богословие подверглось могущественному влиянию рационалистического, критически настроенного века. Опираясь, с одной стороны, на мощный фундамент философии Канта, с другой, – на историческую критику Землера, на общее скептическое и гуманное настроение эпохи, рассудочное размышление (*raison raisonnante*) разорвало всякую связь с церковным ортодоксальным протестантизмом». Если пиетизм подкапывался под него с точки зрения прав сердца и личной совести, то есть подрывал его государственный, бюрократический (или, как говорит Шерр, полицейский) характер, то рационализм обратил свое внимание преимущественно на догматическую сторону учения. И мы увидим ниже, к каким ценным результатам привели Гегеля его богословские занятия, продолжавшиеся почти без перерыва 7 лет (1788–1795 гг.).

Конечно, на первых порах он и здесь, то есть в области богословских занятий, является перед нами послушным учеником, покорно переваривающим весь информационный мусор, вынесенный из чтения книг, в большинстве случаев неумных, и из слушания сухих, за редкими исключениями, лекций; но в то же время в период этих богословских занятий мысль Гегеля уже начинает расправлять свои могучие крылья. Пока же он по-прежнему продолжает собирать коллекции цитат и приводит в порядок свои многочисленные выписки. Он все еще «*lumen obscurum*», как зовут его товарищи, которому, однако, суждено скоро засветить... увы! – не ко благу человечества.

Попробуем теперь нарисовать картину студенческой жизни Гегеля, когда он пил, любил и даже сочинял стихи. Чем были германские университеты того времени? Раз уже цитированный нами Лаукгард описывает университетскую жизнь нижеследующим образом: «Жизнь студентов, или буршей, Гиссена благодаря стараниям высланных туда нескольких йенских студентов была устроена совершенно по образцу йенской. Кто хотел быть уважаемым буршем, тот должен был каждый вечер посещать по крайней мере одну пивную – рейнская кружка пива стоила два крейцера – и пить там до 10–11 часов. Говорить о научных предметах считалось педантством, поэтому разговор постоянно держался на делах буршей и часто переходил в сквернословие. Я помню, в пивной Эбергард-Бум читались даже правильные лекции сквернословия по рукописному экстракту. В Гиссене попойки были разрешены, и мы часто пьянствовали на улице. Большая часть студентов вела себя как свиньи. Байковая куртка была их постоянным нарядом – и в праздник, и в будни. Кроме того, студенты носили кожаные панталоны и длинные сапоги. Драки были не редкостью: дрались даже на улице. Вызывавший на бой шел под окна своего противника, стучал палкой по тротуару и кричал: „Regeat (да погибнет) NN – собака, свинья!“ Вызываемый являлся, завязывалась драка, нако-

³ «Буря и натиск» (нем.)

нец приходил педель, разнимал врагов, сажал их в карцер, чем и кончалось дело. Между грубыми непристойностями, модными в Гиссене, замечательны так называемые генеральные экскрементации, которые устраивались так: 20 или 30 студентов напивались порядком в пивной, становились перед домом, где жили женщины, и, по команде, со свистом начинали все вместе мочиться, как животные... Лихорадочная страсть к исписыванию тетрадей отнюдь не мучила гиссенских студентов. В других университетах я всегда находил завязтых тетрадеисписывателей, особенно в Галле; там студенты наполняли целые тома университетскою мудростью. Впрочем, и галльские студенты были очень грубы. В Йене у каждого бурша была так называемая „шармант“ – простая девушка, с которой он жил, пока оставался в университете, и которую, уезжая, передавал товарищу» (Шерр I, с. 496).

Но Тюбингенский университет отличался, по-видимому, нравами более просвещенными и гуманными. В нем, по словам Штрауса, «единомышленники – студенты и профессора – сообща подвизались на учебном поприще и сообща же решали все несогласия в области духа». Здесь устраивались настоящие ученые корпорации, со всевозможным тщанием штудировавшие Канта или лейбнице-вольфовскую философию. Не надо, однако, думать, что студенческая жизнь ограничивалась исключительно «преследованием интересов духа». Самые горячие споры об антиномиях совершались в неприменном сообществе и присутствии пивных кружек, причем зачастую дуализм кантовой философии находил себе полное примирение во взаимных объятиях сначала разодравшихся, потом расцеловавшихся и, наконец, уснувших юных мудрецов. Если в Гиссене всякий, не поглощавший такого количества пива, которое способно привести в расстройство желудок не только человека, но и быка, считался «подлецом» и «идиотом», то в Тюбингене требования, предъявляемые доброму буршу, были гораздо умереннее и носили характер более интеллигентный. Общее философское движение века отразилось и на жизни учащейся молодежи. Не надо забывать, что университетские годы Гегеля относятся к той эпохе, когда философия совершала свои подвиги; когда кенигсбергский старик Кант со смелостью религиозного реформатора очищал от метафизической шелухи все области человеческого знания; когда Вольтер и Руссо, закончив свои работы, могли видеть, какими быстрыми, могучими волнами распространяется начатое ими движение во имя прав человеческой личности, ее ума, ее сердца и воли. А молодежь всегда отзывчива и восприимчива. Еще в 70-х годах XVIII века она интересовалась исключительно триединым принципом «Wein, Weib und Gesang» (вино, женщина и песня). Общее нравственное утомление окружающей ее среды, сухой педантизм в области знания толкали ее на путь трактирных подвигов. Но повеяло новым духом, общество восторжествовало и приободрилось, перспектива новой человеческой жизни – не совсем, правда, ясная, но заманчивая – открылась перед умами – и трактирные подвиги утратили все свое прежнее обаяние. Если прежде говорить о науке и вообще о возвышенных предметах считалось непозволительным педантизмом и даже «подлостью», то теперь только такие разговоры и были в моде, только они и требовались. И великие, и малые подчинялись этому новому веянию; оно заставляло подтягиваться даже и глупых людей, оно зажимало рот всем, кто, несмотря ни на что, не мог сделать ни шагу вперед от прежних буршевских идеалов. Мы имеем даже свидетельство о том в высокой степени любопытном и назидательном обстоятельстве, что общий подъем духа и умственности отразился и на нравственных идеалах и привычках молодежи. Прежде, например, считалось совершенно естественным и даже необходимым, чтобы добрый бурш в бытность свою в университете заводил себе любовницу, а затем, закончив курс наук, пропитавшись высшими принципами философии, передавал ее, эту любовницу, эту бедную простую девушку (которую, кстати сказать, он нередко бивал), точно мебель, своему товарищу вместе с прочим ненужным хламом прошлой студенческой жизни. Но в философствующих корпорациях Тюбингенского университета царствовал не только подъем умственности, но и нравственных требований вообще. Отдельные личности доходили даже до ригоризма и

своим примером, своим строгим отношением к себе вызывали не только уважение, но даже подражание.

Легко предположить, что в философствующих корпорациях говорилось неисчислимое количество глупостей и едва ли хоть один вопрос разрешался в должном, с точки зрения истины, смысле. Но важно не это, важен вдруг нахлынувший (именно – *вдруг*) на жизнь германской молодежи подъем духа. Он сделал невозможным возводить в идеал юности трактирное времяпрепровождение, истребление пива, скотские отношения к женщинам. Он потребовал от человека ума, знания, а следовательно, и прилежных занятий, он одухотворил его интересы и нарисовал ему картину лучшей или даже хорошей жизни. Конечно, наивно думать, что все стали умны и что все добродушные, ограниченные (в большинстве случаев) бурши вдруг засверкали всеми цветами добродетели. Не надо забывать, что волна умственности нахлынула вдруг, нахлынула на почву, совершенно для нее неподготовленную, и, разумеется, не могла смыть сразу всей накопившейся грязи. Большинство только тянулось за духом времени, так сказать, «лебезило» перед ним и впоследствии, при перемене обстоятельств, с легким сердцем, не удручаемым никаким раскаянием, сделало крутой поворот налево-кругом и с подлою, опять-таки лебезящею усмешкою обливало помоями Sturm und Drang Periode (период бури и натиска) своей юности. Но и без всяких увлечений остается тот несомненный факт, что трактирные идеалы утеряли свое исключительное господство над умами молодежи и вместо них появились другие: сначала научной и философской истины, потом уже истины вообще, истины жизни.

Попав после строгой обстановки родительского дома в бурный и одушевленный кружок своих университетских товарищей, Гегель, по крайней мере на первое время, расстался со своими педантизмом и научностью. Он был не прочь в виде отдыха от философских рассуждений кутнуть слегка и поволочиться за «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он любит, например, устраивать такие игры с фантами, в которых на его долю достается поцелуй какой-нибудь «розовошкой Гретхен», и даже «при устройстве таких игр выказывает некоторое нетерпение». Очень часто видим мы его в весьма уютной Bierhalle, принадлежащей одному из пяти миллионов немецких Мюллеров, куда его привлекают пиво, дружба и... маленькая, полненькая блондинка с удивительными синими глазками. По поводу этой блондинки мы имеем следующие данные, сообщенные почтительным и обстоятельным Розенкранцем. Она была, конечно, добродетельна; имела, конечно, мамашу, одаренную всяческими достоинствами; была красива, умна (вероятно) и, главное, обладала удивительными синенькими глазками. Видеть ее и говорить с нею, ввиду ее добродетели и мамыши, было вообще очень трудно, но судьба не была безжалостна к целому отряду влюбленных в удивительные синие глазки студентов. Добродетельная девушка имела привычку ежедневно в три четверти седьмого проходить через комнату, где сидели косматые и несколько подвыпившие уже бурши, направляясь в погреб за молоком, простоквашей или холодным габер-супом к ужину. Тут-то, во время, если можно так выразиться, прохождения тюбингенской Венеры через пивную комнату, и надо было ловить момент, то есть приветствовать белокурую девушку комплиментами, наскоро пожать ее хорошенькую молочную ручку и сунуть ей за корсаж свое – увы! – длиннейшее и скучнейшее стихотворение, начинавшееся обыкновенно эпиграфом из неудобоваримой для смертных вообще и совершенно непереваримой для слабого пола вольфовской онтологии. Как нам это доподлинно известно, Гегель принадлежал к отряду влюбленных и не пропускал ни одного вечера, чтобы не полюбоваться на красавицу. По его идее даже был устроен бал, на котором он неохотно танцевал и очень охотно, даже «с некоторым нетерпением», устраивал игру в фанты. История умалчивает, получил ли он на сей раз страстно желаемый поцелуй.

Не угодно ли заодно полюбоваться стихами Гегеля, написанными им в это время? Стихи эти недурно передают господствующее настроение юного философа:

Glücklich, wer auf seinem Pfad
Einen Freund zur Seite hat;
Dreimal glücklicher aber ist,
Wen sein Mädchen feurig küsst.
Счастлив, кто в жизни
Имеет около себя друга;
Но втрое счастливее тот,
Кого горячо целует его возлюбленная.

Вообще в лице Гегеля в этот период мы видим добродушного, неуклюжего, несколько сентиментально настроенного бурша, готового даже забывать лекции профессоров ради удивительных синеньких глазок, пишущего скверные стихи (мы привели лучшие), курящего скверный табак, пьющего прекрасное пиво и проявляющего свое веселое настроение в неудержимом раскатистом смехе, приводившем в ужас мирных тюрбингенских граждан...

Но все же он не забывает своих обязанностей, и мы не раз видим его читающим проповеди, как это было принято на богословском факультете.

Вспоминая впоследствии о своих студенческих годах, Гегель в письме к Нитгаммеру говорит: «Мой отец имел полное основание быть недовольным мною». А между тем, это – единственные годы, которые способны привлечь к себе воображение биографа и читателя. Перед нами неоперившийся еще юный философ, отзывчиво и даже страстно откликающийся на призыв жизни. В этом эмбрионе, увлекающемся французской революцией, сажающем деревья свободы, дающем клятву «никогда не верить в то, во что верить приказано», мы лишь с величайшим трудом можем различить первообраз будущего угрюмого философа, властно и жестоко преследующего всякие отклонения от того пути, который он сам почитает истинным. Но этот эмбрион, несмотря на свои увлечения, на беспорядочность своей жизни и занятий, более близок нам, обыкновенным смертным, чем будущий властолюбивый педант, с таким презрением смотрящий на всякое служение чувству, на всякую борьбу во имя идеала, мелькнувшего перед разгоряченным любовью или ненавистью воображением.

«Мой отец имел полное основание быть недовольным мною», – говорит Гегель, и мы охотно соглашаемся с ним, встав на точку зрения господина советника вюртембергской счетной палаты. Но и сам Гегель не доволен своею юностью. Он бы желал видеть в ней более порядка и меньше разбросанности, свидетельствующей об излишней горячности чувства, впоследствии презираемого. К этой юности, однако, относится самое светлое воспоминание его жизни – дружба с Гельдерлином.

Они были сверстниками, обоим не исполнилось еще и двадцати лет, когда они поступили в Тюрбингенский университет. Гельдерлин был поэт, и только молодость могла заполнить глубокое различие между его характером и характером Гегеля. Еще ребенком он начал писать стихи и, как истинный талант, писал их со свободной и смелой доверчивостью к своему сердцу и своей фантазии. Его стихотворения уже в юности отличаются чрезвычайной нежностью выраженных в них чувств. Он сильно увлекался поэмами Оссиана и Клопштока; с другой стороны, он заимствовал у великого Жан-Жака понятие о человеческих правах и радовался тому, что французская революция подготавливает осуществление гуманных идей. В своих гимнах он воспевал добродетель, свободу, любовь к отечеству и с поэтическим красноречием излагал мысли, заимствованные из «Contrat social». Он хотел быть поэтом свободы и человечности и, совершенно естественно, с ранней молодости питал глубочайшее уважение к своему земляку Шиллеру. Шиллер умел увлекательнее всякого другого выражать идеалы юношеского возраста, горячо нападал на грубые предрассудки своего времени и, вместе с тем, со своими возвышенными стремлениями и верованиями соединял склонность к

меланхолии и к разочарованию. Гельдерлин, как маркиз Поза, любил только человеческий род и поколения будущих столетий и рядом с этим чувствовал упорную, беспредметную тоску «по какой-то чудной, утерянной человечеством жизни».

В Гельдерлине было нечто большее, чем простая склонность к благородной чувствительности или способность проливать умиленные слезы при таких высоких словах, как «свобода, равенство, братство и отечество». Он был болен своим воображением, боявшимся всякой действительности, чуждавшимся всяких реальных конкретных образов. Он любил только свои мечты, свои чувства, создания своей поэтической фантазии, высокие идеалы, но не жизнь, которая была вокруг него. Посмотрите на его отношения к женщинам: кто скажет, что это отношения здорового человека? Все достижимое или достигнутое, все воплощавшееся в формы обыденной действительности претило ему и вызывало какое-то болезненное отвращение. Он мог любить только платонически и ту женщину, владеть которой не представлялось никакой возможности. Слишком высоких, слишком обидчивых требований его сердца не могли удовлетворить ни один друг, ни одна возлюбленная. Однажды он написал: «Мне, вероятно, никогда не придется любить иначе, как в своем воображении», – и в этих словах ключ к пониманию его характера. Он любит фантастический образ гречанки Мелиты, «которая прелестна и священна, как настоящая жрица любви»; но так как действительность никаких «настоящих жриц любви не представляла», то земная любовь оказалась невозможной. Только однажды действительность пахнула в него своим здоровым дыханием, но и тут Гельдерлин остался верен себе. Он нашел «земное совершенство» – в лице матери своих воспитанников, женщине очень умной и нежно настроенной, но в то же время и недостижимой. Но это-то именно обстоятельство, что он никогда не мог вступить в обладание предметом своей любви, окончательно укрепило Гельдерлина в убеждении, что это – идеал. Он быстро взвинчивает себя без всякой меры, без всякого сострадания к здравому смыслу. Сюжетта Гонтар, тридцатипятилетняя дама, немедленно превращается в настоящую гречанку, в «священную жрицу любви». Он пишет страстные письма, в которых выражает желание обнять вселенную и человечество за доставшееся на его долю счастье— созерцать совершенство.

Но и эта любовь оказалась лишь весенним лучом. Гельдерлин скоро опять погружается в меланхолию. Разрыв с действительной жизнью, отвращение от всего, что может дать земное счастье, приводят нашего поэта сначала к грусти, потом к помешательству. «Все противно, все гадко, все скверно в окружающей жизни!» – говорит Гельдерлин. «Нет народа более жалкого, чем немцы! – восклицает он в другой раз. – Вы найдете между ними ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священников, но не людей; господ и рабов, юношей и стариков, но не людей!» «Склад семейной жизни – глуп». «Политика – бессмысленна». «Человеку, как гусю, приходится стоять в современном болоте».

Такой разлад с действительностью мог повести или к борьбе с ее злом, или к обиженному удалению от нее, к бесполезным жалобам и полному разочарованию. Гельдерлин избрал второй путь и, конечно, погиб. Он бранится, проклинает, насмехается, когда сердце его обливается кровью, но не находит и признака силы в душе, чтобы проявить свое негодование в активной борьбе.

Варварство, варварство, – постоянно восклицает он. Но что же делать с ним? Неужели надо оставаться спокойным зрителем? Спокойным Гельдерлин быть не мог. Он тосковал, мучился и искал своего спасения в созерцании, в мире грез, идей, образов. Сильный талант, как Гете, сильный ум, как Гегель, уравновешенные натуры, как Гегель и Гете, могли рискнуть на это, то есть на примирение с жизнью, какой бы она ни была, лишь бы идеалы хороши были, но Гельдерлин погиб – «завявши без расцвета». Его тяжелая тоскливая жизнь освещалась только одним светом, который лился на нее из созерцания греческой древности. Гельдерлин был влюблен в Грецию. Я говорю «влюблен», потому что иначе не знаю, как охарактеризовать его чувства. Он был влюблен с полным отречением от своего «я»; он обожал

и любовался на свою красавицу, даже не думая ближе подойти к ней или приблизить ее к себе. Он был счастлив при мысли, что когда-то на земле существовала дивная страна, жизнь которой, полная счастья, полная силы, представляла гармонически целое, гармонически прекрасное. С ужасом, по всей вероятности, посмотрел бы он на человека, который предложил бы ему принять меры к восстановлению этой прекрасной древности на германской почве. Ему достаточно было одного созерцания этой жизни, которая вся представлялась ему как бы выточенной из белого паросского мрамора с дивными формами Венеры Медицейской. Во имя этой Греции он отворачивался от своей родины, совершая невольно, в pendant духу времени, один из самых тяжких грехов человека. Он видел вокруг себя пошлость и ничтожество, видел разрозненных, разбитых на мелкие части людей современности, преисполненных внутренними непримиримыми противоречиями. И с тихой грустью меланхолически созерцательной натуры он обращал глаза свои к своему божеству – этой спокойной и дивной в полном обладании своей красотой Греции.

«В Гельдерлине, – говорит Гайм, – Гегель встретил, так сказать, живое воплощенное чувство древности». Под его влиянием в нашем философе с большею еще силою пробудилось детское влечение к классическому миру, когда Антигона оказывалась родственнейшею из душ, а слишком современный Вертер почти не производил впечатления.

Сойдясь на этой почве, они стали друзьями, вместе приветствовали французскую революцию, вместе клялись быть «свободными» людьми, гражданами того мира, где царит красота и гармония. Они дали однажды друг другу дивную клятву «жить для свободной истины, никогда не заключать мира с постановлениями, определяющими, что должно думать и что чувствовать». В этой клятве выразилась вся их бодрая, юношеская вера в самих себя, в свои молодые силы, достаточные для подчинения себе вселенной.

Трудно сказать, что нравилось Гельдерлину в малоподвижном, слишком рассудочном Гегеле. Как могли они быть друзьями, несмотря на резкую противоположность своих натур? Но, вероятно, Гельдерлина привлекало в нашем философе как раз то, чего не хватало ему самому: спокойная осмотрительность, осторожная логика и глубокая вдумчивость. Быть может, ему нравилось раскачивать это тяжелое тело своими одушевленными, полными восторга речами, тем более, что это удавалось ему как нельзя лучше. Под влиянием Гельдерлина Гегель написал даже стихотворение, – топорное, неуклюжее, но, несомненно, мечтательное, где он унижал современную пошлую действительность во имя дивной греческой жизни. Отношения к Гельдерлину были для Гегеля «святая святых», куда он удалялся после своих кутежей и праздного студенческого времяпрепровождения, особенным миром, где властвовала свобода и красота, где фантазия и сердце находили себе полные права гражданства. Надо быть добрым и честным, не надо склоняться перед жизненной прозой, тем менее увлекаться ею, – говорил Гельдерлин, и Гегель *слушал* его, надо думать, искренне.

Мирные занятия Гегеля богословием, его невиннейшие развлечения вроде игры в фанты с целью получения поцелуя какой-нибудь Маргариты – Луизы – Каролины – Марии, или ухаживаний за хорошенькой белокурой девушкой внезапно были прерваны событием, сразу приковавшим к себе внимание всей Европы и даже всего мира. Мы говорим, конечно, о французской революции, начавшейся 5 мая 1789 года, если считать ее со дня созвания Генеральных штатов. Все лучшие и даже худшие умы Германии (например Гейнц) возликовали, и не было решительно никакого предела их восторгу. Клопшток и Форстер, Кант и Фихте – все с одинаково радостным сочувствием приветствовали начало всемирной трагедии. Клопшток сочинял свои возвышенные оды, в которых напыщенные и ходульные строфы были наполнены священными словами свободы и братства. Фихте оправдывал французов за все содеянное ими и смело говорил о праве народов, подыскивая ему десятки философских основа-

ний в своем гибком и идеалистически настроенном уме. Ликование на первых порах было всеобщим, и каждая театральная (увы, только театральная!) сцена, разыгранная в Париже, находила себе восторженные рукоплескания по эту сторону Рейна. На всех перекрестках кричали о наступлении новой эры; о том, что пришло царство свободы и братства, и странно – совсем не маленькие дети, а взрослые люди находили какое-то особенное удовольствие в беспрестанном повторении возвышенных слов *fraternité, égalité, liberté* (братство, равенство, свобода) и в платонических восторгах перед ними.

Политическая наивность немцев была так велика, что французская революция даже после разрушения Бастилии (14 июля 1789 года) продолжала вызывать искренние рукоплескания в людях самых различных взглядов, самых противоположных стремлений. Все, по-видимому, сходились в том, что слова «*fraternité*» и «*liberté*» звучат очень громко, а главное – в своем полнейшем непонимании того, что происходило у них перед глазами. На революцию любовались, как любят на начинающееся извержение. Огненные столпы на хмуром вечернем небе, глухой раскат землетрясений, облака пепла и дыма, носящиеся над кратером, очевидно, принадлежат к самым красивым зрелищам. И на него любовались, как любят суровыми видами природы, гениальным произведением батальной живописи, драмой, возбуждающей высокие и прекрасные чувства. Читая речи ораторов Национального собрания, прислушиваясь к глухим раскатам громового голоса Мирабо, немецкие добродушные, идеально настроенные зрители рукоплескали знакомым актерам и актрисам. Чего бояться их? Мечи у них картонные, роли заученные, пистолетики хлопают сырым картофелем и, в крайнем случае, способны вызвать быстро проходящую шишку на лбу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.